

Часть V. Петропавловская крепость. Побег

I. Петропавловская крепость. Мой каземат. Страдания от вынужденной бездеятельности. Приезд брата. Разрешение продолжать научные занятия

Итак, я был в Петропавловской крепости, где за последние два века гибли лучшие силы России. Самое ее имя в Петербурге произносилось вполголоса.

Здесь Петр I пытал своего сына Алексея и убил его собственной рукой. Здесь, в каземате, куда проникла вода во время наводнения, была заключена княжна Тараканова. Крысы, спасаясь от потопа, взбирались на ее платье. Здесь ужасный Миних пытал своих политических противников, а Екатерина II заживо похоронила тех, кто возмущался убийством ее мужа. И со времен Петра I, в продолжение ста семидесяти лет, летописи этой каменной громады, возвышающейся из Невы против Зимнего дворца, говорят только об убийствах, пытках, о заживо погребенных, осужденных на медленную смерть или же доведенных до сумасшествия в одиночных мрачных, сырых казематах.

Здесь перетерпели начальные стадии своей мученической жизни декабристы, первые развернувшие у нас знамя республики и уничтожения крепостного права. Следы их до сих пор можно еще найти в русской Бастилии. Здесь были заключены Рылеев, Шевченко, Достоевский, Бакунин, Чернышевский, Писарев и много других из наших лучших писателей. Здесь пытали и повесили Каракозова.

Здесь, где-то в Алексеевском рavelине, сидел еще Нечаев, выданный Швейцарией, как уголовный, но с которым обращались как с опасным политическим преступником. Ему уже не суждено было больше увидеть свободу. В том же рavelине, гласила молва, сидело несколько человек, заключенных на всю жизнь по приказу Александра II за то, что они знали дворцовые тайны, которых другие не должны были знать. Одного из них, старика с длинной

бородой, видел в таинственной крепости один из моих знакомых.

Все эти тени восставали в моем воображении; но мои мысли останавливались в особенности на Бакуanine, который, хотя и просидел два года на цепи, прикованный к стене, в австрийской крепости после 1848 года, и потом, выданный русскому правительству, прожил еще шесть лет в Алексеевском равелине, вышел, однако, из тюрьмы, после смерти железного деспота, более энергичным, чем многие его товарищи, которые все это время пробыли на свободе. «Он выжил все это, – говорил я самому себе, – так и я не поддамся тюрьме».

Первым движением моим было подойти к окну. Оно было прорезано в виде широкого, низкого отверстия в двухаршинной толстой стене на такой высоте, что я едва доставал до него рукой. Оно было забрано двумя железными рамами со стеклами и, кроме того, решеткой. За окном саженьях в пяти я видел перед собою внешнюю крепостную стену необыкновенной толщины; на ней виднелась серая будка часового. Только глядя вверх, мог я различить клочок неба.

Я тщательно осмотрел камеру, в которой, быть может, мне предстояло провести несколько лет. По положению высокой трубы монетного двора я догадался, что моя камера находится в юго-западном углу крепости, в бастионе, выходящем на Неву. Здание, в котором я сидел, было, однако, не бастионом, а то, что в фортификации называют редюит, то есть внутреннее, пятиугольное, двухэтажное каменное здание, поднимающееся несколько над стенами бастиона и заключающее два этажа пушек. Моя комната была казематом, предназначавшимся для большой пушки, а окно – его амбразура. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в толще стены. Меблировку составляли: железная кровать, дубовый столик и такой же табурет. Пол был покрыт густо покрашенным войлоком, а стены оклеены желтыми обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на стену, а на полотно, под которым я открыл проволочную сетку, а за ней слой войлока. Только под ним мне удалось нащупать камень. У внутренней стены стоял умывальник. В толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с наружной стороны маленькою заслонкою. Через этот глазок часовой, стоявший в коридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключенный. Действительно, он часто поднимал заслонку глазка, причем сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он по-медвежьи подкрадывался к моей двери. Я пробовал заговорить с ним, но тогда глаз, который я видел сквозь стеклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно опускалась. И через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда я не мог добиться ни слова от часового.

Кругом царила глубокая тишина. Я придвинул табуретку к окну и стал смотреть на клочок неба. Тщетно старался я уловить какой-нибудь звук с Невы или из города на противоположном берегу. Мертвая тишина начинала давить меня. Я пробовал петь, вначале тихо, потом все громче и громче: «Ужели мне во цвете лет любви сказать: прости навек», – пел я из «Руслана и Людмилы».

– Господин, не извольте петь! – раздался густой бас из-за двери.

– Я хочу петь и буду.

– Петь не позволено, – басил солдат.

– А я все-таки буду.

Тогда явился смотритель, начавший убеждать меня, что я не должен петь, так как об этом он вынужден будет доложить коменданту крепости и так далее.

– Но у меня засорится горло и легкие отучатся действовать, если я не буду ни говорить, ни петь, – пробовал убеждать я.

– Уж вы лучше пойте вполголоса, про себя, – просил старый смотритель.

Но в просьбе не было надобности. Через несколько дней у меня пропала охота петь. Я пробовал было продолжать пение из принципа, но это ни к чему не привело.

«Самое главное, – думал я, – сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть. Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на севере, во время полярной экспедиции. Буду делать много движения, гимнастику, не надо поддаваться обстановке. Десять шагов из угла в угол уже не худо. Если пройти полтора раза, вот уже верста». И я решил делать ежедневно по семи верст: две версты утром, две – перед обедом, две – после обеда и одну перед сном. «Если положить на стол десять папирос и передвигать одну, проходя мимо стола, – думал я, – то легко сосчитаю те триста раз, что мне надо пройти взад и вперед. Ходить надо скоро, но поворачивать в углу медленно, чтобы голова не закружилась, и всякий раз в другую сторону. Затем дважды в день буду проделывать гимнастику с моей тяжелой табуреткой». Я поднимал ее за ножку и держал в вытянутой руке, затем вертел ее колесом и скоро научился перебрасывать ее из одной руки в другую, через голову, за спиной и между ногами.

Через несколько часов после того, как меня привезли, явился смотритель и предложил кое-какие книги. Между ними были старые знакомые, как «Физиология обыденной жизни» Льюиса; но второй том, который мне особенно хотелось прочитать, снова куда-то затерялся. Я попросил, конечно, письменные принадлежности, но мне наотрез отказали. Перья и чернила никогда не выдаются в крепости иначе, как по специальному разрешению самого царя. Я, конечно, сильно страдал от вынужденной бездеятельности и начал сочинять в памяти ряд повестей для народного чтения, на сюжеты, заимствованные из русской истории, – нечто вроде «Mysteres du Peuple» Евгения Сю. Самую идею мне подали «Очерки из истории рабства», которые я прочел в одной из старых книжек «Дела». Я придумывал фабулу, описания, диалоги и пробовал запомнить все от начала до конца. Можно себе представить, как изнурила бы мозг подобная работа, если бы я ее продолжал больше, чем два или три месяца.

В крепости от нескольких поколений заключенных накопилась целая библиотека. Чернышевский, каракозовцы, нечаевцы – все оставили что-нибудь для следующих поколений заключенных. Было даже несколько книг, оставшихся от декабристов, и одна из них попала мне, и я с чувством благоговения читал какое-то туманное мистически-

философское сочинение, которое было в руках этих первых мучеников борьбы против самодержавия в нашем веке, отыскивая каких-нибудь следов – имен или разговоров – в старинной книге. Все книги были, между прочим, до того исчерчены ногтем, что трудно было до чего-нибудь добраться. Одно только имя раз попало мне, совершенно ясно очерченное ногтем, буква за буквой: «Нечаев 1873». Он, стало быть, еще недавно был жив, заключенный где-то в каком-то каземате, может быть, недалеко от нас.

Многим заключенным только в тюрьме и удается читать спокойно, без перерыва, серьезные книги. Попадая рано в круговорот кружковой жизни и политической агитации, большинству революционеров только и удается читать толстые книги в тюрьме. Иоган Мост как-то писал мне, что он только в немецкой тюрьме получил порядочное образование. Лионским анархистам только в Клерво удалось получить кое-какое образование. Вообще где же молодому рабочему учиться, если не в тюрьме! Но и большинству молодых студентов только в тюрьме удалось прочесть многое и познакомиться основательно с историей.

За Льюисом, конечно, последовала «История XVIII века» Шлоссера, книга, которую все без исключения попавшие в русскую тюрьму прочитывают по несколько раз. Тюремная цензура охотно пропускала этот тяжеловесный труд немецкого историка, довольно либерального, и из нее наша молодежь знакомилась с Французской революцией за неимением лучших сочинений. Мне тоже позволили пополнить в свою очередь крепостную библиотеку, и я приобрел всю «Историю» Соловьева и пополнил то, чего не хватало из Костомарова, Сергеевича, Беляева. Все это я прочитал по несколько раз в крепости и глубоко наслаждался, читая не только общие исследования, но даже такие специальные работы, как, например, «Одежды русских царей и цариц» и т. п., которые мне потом носили из библиотеки Черкасова.

Еще одну книгу хотелось бы мне помянуть добром за вынесенное из нее наслаждение. Это Стасюлевича «Хрестоматия средних веков». Если по новейшим или древнейшим периодам истории каждый писатель по-своему толкует события, то нигде произвол и даже полнейшее непонимание периода не доходят до такой степени, как в исследованиях по средним векам. Историки, выросшие на государственности, римском праве, в большинстве случаев совершенно не способны понять смысл средневековой жизни. Им важно ленное начало, отношение феодалов к королевской власти (которую они все, кроме Огюстэна Тьерри и даже включая его, преувеличивают), правовые, установленные грамотами или договорами отношения крестьян к землевладельцам, или же отношения церкви как государственного учреждения к королю, папе или своей пастве; но взаимные отношения крестьян и горожан между собою, не определенные никакими письменными документами (так же как отношения сельчан в сельском «обществе», в общине), совершенно ускользают от них. Выросши на школе римской государственности и римского права, большинство историков даже не подозревает этого обширного мира правовых отношений, построенных на неписаном обычном праве.

Вот почему я с таким удовольствием читал выборки из хроник, из которых составлена «Хрестоматия» Стасюлевича. Я не поручусь, что Стасюлевич тоже не упустил в этих выборках самого существенного, то есть намеков, попадающихся в этих хрониках, на взаимные обычные отношения людей. Но уже потому, что выборки так обширны, в них

попадают там и сям ценные намеки; затем хотя бы и придворная и монастырская жизнь, выступающая в этих хрониках, сама по себе в высшей степени интересна, иногда драматична и всегда дышит самую жизнью.

Больше всего я зачитывался, конечно, такими сочинениями, как «Вече и князь» Сергеевича, или такими исследованиями, как Беляева «Крестьяне на Руси», в которых выступала жизнь масс в средние века русской жизни. С большим удовольствием читал я также «Жития святых», где иногда попадают среди массы хлама такие бытовые картины, которых больше нигде не найдешь. Наши русские летописи – такая роскошь, что удивляешься, как мало их читают! Псковская летопись в особенности так живописна и такой драгоценный материал для понимания средневекового городского уклада, что ни в одной, кажется, литературе нет ничего подобного. Дело в том, что в Пскове средневековая жизнь удержалась в первобытных формах до сравнительно позднего периода, когда писание летописей уже достигло более высокой степени совершенства. А затем сама демократическая жизнь Пскова, без очень богатых купеческих семей, становящихся «тиранами» города, более выдвигает в истории народные массы, потому Псковская летопись – образец для жизни целой массы подобных городов в Западной Европе, не оставивших своих летописей.

Вообще изучение, подробное, доскональное и оригинальное (то есть со своими соображениями и выводами), истории одной страны дает совершенно неподозреваемую силу для понимания истории всех стран Европы. Казалось бы с первого взгляда: что общего между историей Франции или Германии и России? А между тем и там повторяется те же формы развития родовой, мирской, городской и государственной жизни, и – что всего поразительнее – известные периоды выражаются в сходных личностях. Конечно, все эти личности имеют специальную физиономию – на то они и личности, и на то каждая страна сама по себе. Каждый человек имеет свою физиономию, и француз отличается от русского, даже когда он принадлежит к тому же типу – дипломата, или воина, или мыслителя. Но если признать это неизбежное личное выражение и национальное и всматриваться в различные стадии человеческой культуры, то сходство поразительное.

Меровингский период во Франции – тот же первоначальный рюриковский период России. Городское народоправство проходит во Франции и в России те же стадии развития. Между Людовиком XI и Иоанном Грозным, в их борьбе с боярством, сходство полное, и – что всего поразительнее – в обеих личностях много общего. Между Петром I и Людовиком XIV, конечно, разница громадная, но их историческая роль – укрепление самодержавия государства – чрезвычайно сходная. Затем царствование императриц в России и любовниц Людовика XV во Франции – опять сходные периоды государственного развития. И, наконец, Александр II и Людовик XVI шли одною стезею, и, если бы не замешались террористы, царствование Александра II, вероятно, закончилось бы Учредительным собранием.

Большого сходства напрасно было бы искать. История повторяется, но не в виде слепка – все равно как в истории развития сумчатых повторилась история развития млекопитающих (или, вернее, наоборот) и создались сходные параллельные типы.

Но зато в развитии учреждений и правовых отношений между различными частями общественного организма сходство еще больше.

Итак, с первого же дня в крепости было что читать. Но я так привык писать, творить из прочитанного, что одно чтение не могло меня удовлетворить.

В одном из старых номеров «Дела» мне попался перевод двух очерков из романа французского писателя Евгения Сю «Тайны народа». Имя Сю, конечно, не упоминалось (цензура не пропустила бы), но перевод был довольно полный. И, не зная, откуда взяты эти очерки, я был поражен их мыслью. Я стал составлять в уме такие же очерки из русской истории для народа. Придумывал завязку, лиц, события, разговоры, главу за главой, и, ходя из угла в угол, повторял себе эти написанные в уме главы. Я где-то читал, что Милль делал нечто подобное раньше чем писать.

Такая усиленная мозговая работа скоро довела бы мой мозг до истощения, если бы, благодаря тому же бесценному, милому брату Саше, мне не позволили месяца через два-три засесть за письменную работу.

Когда меня арестовали, Саша был в Цюрихе. С юношеских лет он стремился из России за границу, где люди могут думать, что хотят, свободно выражать свои мысли, читать, что хотят, и могут открыто высказывать свои мысли.

К агитации среди народа в России он не пристал. Он не верил в возможность народной революции, и сама революция представлялась ему как действие организованного представительства народа, Национального собрания и смелых «интеллигентов». Он знал Французскую революцию, как ее рассказывали парламентские историки, и сочувствовал толпам только парижским, когда они шли на приступ Бастилии или Тюильри под руководством интеллигентных вожаков. Его изящную, философски-художественную натуру, вероятно, коробило от прикосновения толпы, обнищавшей, иногда высоконастроенной, но иногда и грубой, пьяной, аплодирующей казням своих лучших защитников.

Он понимал социалистическую агитацию, как она ведется в Западной Европе: образованные вожаки, увлекающие толпу на митингах, организующие ее; но мелкая повседневная толчея – разговоры сегодня с Яковом Ивановичем, завтра с Павлом Петровичем в рабочих квартирах, воззвания к крестьянству, быть может, крестьянское восстание с его крайностями, а подчас и с неизбежными зверствами – не привлекали его. Он не верил в революционные инстинкты крестьянства, в возможности пробуждения их, и к нашему движению он не пристал. «Признаюсь, – говорил он осторожно, не желая подрывать мою веру своей критикой, – признаюсь, я не понимаю, как можешь ты верить в возможность революции в России, особенно крестьянской».

Надо, впрочем, сказать, что он выехал из России в Швейцарию очень скоро по моему возвращению из-за границы, когда я только что примкнул к кружку «чайковцев», и наша пропаганда среди рабочих только что начиналась.

Вообще брат Саша не был народником-революционером. Социалист по убеждениям, он, попавши за границу, душою был с Интернационалом, но с более умеренною его фракцией.

Случись восстание, случись нам быть в Париже во время Коммуны, он дрался бы на баррикадах до последней капли крови, с последнею горсточкою рабочих на последней баррикаде. С Исполнительным комитетом он пошел бы всею душою и был бы одним из самых решительных бойцов. Но в подготовительном периоде он пошел бы с умеренною фракциею, веря в политическую борьбу прежде всего и в массовую агитацию митингов, конгрессов, манифестаций.

Атмосфера, царившая в то время в России среди интеллигентных слоев, была ему противна. Главной чертой его характера была глубокая искренность и прямота. Он не выносил обмана в какой бы то ни было форме. Отсутствие свободы слова в России, готовность подчиниться деспотизму, «эзоповский язык», к которому прибегали русские писатели, – все это до крайности было противно его открытой натуре. Побывав в литературном кружке «Отечественных записок», он только мог укрепиться в своем презрении к литературным представителям и вожакам интеллигенции. Все ему было противно в этих людях: и их покорность, и их любовь к комфорту, которая для него не существовала, и их легкомысленное отношение к великой политической драме, готовившейся в то время во Франции.

Вообще русскою жизнью, где и думать, и говорить нельзя, и читать приходится только то, что велят, он страшно тяготился. Думал он найти в Петербурге волнующуюся, живую умственную среду, но ее не было нигде, кроме молодежи; а молодежь либо рвалась в народ, либо принадлежала к типу самолюбующихся говорунов, довольных своим полужнанием и решающих самые сложные общественные вопросы на основании двух-трех прочитанных книг всегда в ту сторону, что с такою «невежественною толпою ничего не поделаешь».

Когда я попал за границу и писал из Швейцарии восторженные письма о жизни, которую я там нашел, и о климате, и о здоровых детях, он решил перебраться в Швейцарию. После смерти обоих детей – чудного, приветливого, умного и милого Пети, унесенного в двое суток холерою, когда ему было всего три года, и Саши, двухмесячного очаровательного ребенка, унесенного чахоткою, – Петербург еще более ему опостылел. Он оставил его и переехал в Швейцарию, в Цюрих, где тогда жило множество студентов и студенток, а также жил Петр Лаврович Лавров, которого Саша был большим почитателем.

Саша начал, как я уже говорил, на девятнадцатом году своей жизни большое сочинение «Бог перед судом разума». Но и в отрицании бога, и в физическом мирозерцании он не доходил до совершенно определенных выводов.

В существование бога он не верил – абсолютно не допускал его ни в какой форме – и превосходно разбирал невозможность бога-личности, бога-творца, бога-все и бога-ничего. Он прекрасно понимал историческое, антропоморфическое возникновение идеи божества...

– Стало быть, бога нет; так прямо и скажи, – говорил я.

– Нет, научно я не имею права это сказать, – отвечал он, и по какой-то диалектической тонкости, которой я никогда не мог понять, так-таки просто не способен никогда, несмотря на сотни разговоров, понять, не говоря уже оправдать – он заключал, что научно он не

имеет права сказать, что бога нет:

– Все равно, как я не имею права сказать, – говорил он, – что не существует какой-нибудь силы вне известных нам физико-химических сил.

– Хорошо, – возражал я, – но можешь ты сказать, что, какую бы новую силу мы ни открыли, она будет опять-таки физико-химическая, то есть подлежащая законам механики, каковы бы эти законы ни были?

– Нет, этого я не имею права сказать: я ничего о ней не знаю и ничего сказать достоверного не могу. Я верю, что она будет физико-химическая сила... или, вернее, ничему не верю, ничего не знаю, и если ты берешь на себя нахальство утверждать, что она должна быть физико-химическая сила, то это только нахальство невежества.

Я пробовал давать спору такую постановку – единственно правильную, по моему мнению, но которая, сколько мне известно, не встречается в философских сочинениях.

– Все утверждения науки, – говорил я, – простые утверждения вероятностей. Если я говорю, что свинья родит четвероногих поросят об одной голове, – это громадная вероятность. Но когда-нибудь может случиться и случается, что вследствие обстоятельств, не принятых мною в расчет, свинья родит поросенка о двух головах и с шестью ногами. Слова «уродливость», «случайность» только то и выражают, что тут могли повлиять причины, вторых я не принял в расчет и не мог принять, не зная и не предвидя их.

Все утверждения науки имеют тот же характер. И подобно тому как при всяком измерении всегда следовало бы указывать возможную неточность измерения, то есть говорить: «Окружность земного шара – сорок миллионов метров + или – тысяча метров», – точно так же, утверждая, что такое-то явление совершится так-то, что шар, например, отскочит от стены под таким-то углом, следовало бы прибавить, что вероятность этого отскакивания под таким-то углом – такая-то, малейшая неоднородность стены или шара изменит угол, теплота шара может изменить его упругость и т. д. и т. д. Точно так же, если я говорю, что планета Венера завтра будет стоять там-то, в такой-то точке, то это не фантазия, а громаднейшая вероятность. Я могу только сказать, что хотя и есть миллионы причин, которые могли бы помешать Венере быть в такой-то точке своей орбиты, но вероятность, что эти причины ускользнули от нашего наблюдения или проявятся внезапно в измеримых пределах, до того ничтожна, что я могу признать несомненным, что Венера завтра будет там. А что через тысячу лет Венера будет в такой-то точке, я и вовсе сказать не могу, потому что если бы я и вычислил пертурбации на тысячу лет вперед и мог вычислить их с громадною точностью, то и тогда непредвиденным мною нарушениям осталось бы столько места, что всякое предсказание было бы ложно.

Вероятность малая, большая или почти бесконечная – основание всех научных предсказаний. Так можешь ли ты сказать, что вероятность открытия новой силы, не физико-химической, так же мала, как вероятность того, что завтра Венеры не будет в нашей солнечной системе или даже не будет Солнца?

– Нет, – отвечал он, – совершенно другого разряда явления, о них я ничего не знаю.

Так он и остался кантианцем, отрицая материализм, который он называл нахальным невежеством, и, отрицая бога, говорил, что он не может сказать, что такого существа нет.

- Если бы я сошел с ума, разве только тогда я мог бы уверовать в бога. Я недавно видел во сне, что уверовал в бога, и проснулся сию минуту, заливаясь хохотом. Но утверждать научно, что бога нет, я не имею права. Наука не может ни доказать существования бога, ни опровергнуть его.

- Но ведь ты знаешь генезис этой идеи.

- Генезис плох, но и генезис идеи о круглых орбитах был плох это ничего не доказывает.

Так мы никогда и не могли согласиться. Точно так же и в физико-химическом основании психической жизни. Здесь мы спорили с ним до хрипоты, поднимали крик на весь дом, ссорились - и никогда согласиться не могли. «Явления могут быть познаваемы только в пространстве и во времени. Психологические явления мы познаем только во времени», - так повторял он мне сотни, тысячи раз и, признав это за доказанную теорему, выводил, что если нам удастся проследить все молекулярные движения, происходящие в мозгу человека, и провести полнейшую параллель между такою-то кривою вибраций и такими-то ощущениями, - и этого мы, конечно, достигнем, - то и тогда все, что сможем сказать, это то, что это два ряда параллельных явлений. «Я могу сказать еще, что я думаю, что сущность их едина, но это будет не научное утверждение, так как наука о сущности явлений ничего не знает».

Сколько мы ни спорили, слово сущность стояло, как преграда, не дававшая возможности прийти до соглашения.

- Но ведь ты локализуешь боль - ощущение, физиолог локализует химический процесс или электрическую силу в таком-то нерве, он изучает ощущения в пространстве!

- Нет, он моего ощущения не знает, я локализирую боль, но ощущение боли существует для меня только во времени Сущность его непознаваема.

Замечательно, что у брата, как и у всех держащихся подобных воззрений, был ряд других мыслей, которые он в большинстве случаев недоговаривал, брат, впрочем, со своею беспредельною искренностью, иногда высказывал и эти душевные вопросы, с наукою не имеющие ничего общего.

Так, он говорил раз или два.

- Но для чего весь этот мир существует? Где же цель его существования?

И он, эволюционист (он не был дарвинист) в смысле Ламарка, отрицатель идеи о боге, задавался и мучился вопросом о цели существования мира!

- Да все это антропоморфизм! Перенесение человеческих представлений и целей на природу! Ты теперь рассуждаешь как дикарь, который, перенес свои чувства на внешний

мир, видит в нем творца, разумную силу, думающую по человечески...

Но его поэтическая натура не могла себе представить бесцельный мир. Она искала человеческого чувства и в природе.

Точно так же мысль о возможности существования сил природы, неведомых нам, привела его впоследствии и к некоторой вере в спиритизм...

Саша был натуралист в душе. Он, едва зная математику и путаясь в самых элементарных геометрических теоремах, писал статьи по астрономии, критические обзоры открытий по падающим звездам и по строению вселенной, о которых астрономы говорили с большим уважением.

Помнится, раз на улице меня остановил астроном Савич. «Знаете ли вы, – говорил он, – что статья вашего брата – замечательная статья! Мы все путаемся все время в мелочах подробностей, а он так хорошо разобрал все новейшие работы и так прекрасно распутывает самые сложные вопросы строения вселенной».

Недавно в Америке профессор Хольден – большой умница и творческий ум в астрономии – говорил мне то же и жалел, что не может показать мне письма русского астронома Гильдена, рекомендовавшего Сашу в таких выражениях: «Замечательный дар обобщения и образного представления строения вселенной».

В вопросе о падающих звездах Саша так же распутывал самые трудные вопросы.

Но вместе с тем его ум не был ум естественника, привыкшего к точному измерению, опыту и наблюдению, – его метод не был методом естественника. В биологии он взвешивал критическую цену аргументов за и против на основании опыта; в астрономии он тоже оценивал критическую вескость тех или других аргументов или гипотез на основании согласия гипотезы или аргумента с массой других групп фактов. Но метод его оставался не научным, а, скорее, критическим или диалектическим – общекритическим, а не существенно научно-критическим.

Так, в надежде, что откроются неведомые силы, он самым некритическим, то есть самым ненаучным, образом принимал на веру фокусы спиритов. Так, например, когда я был в доме предварительного заключения, я получил от него длинейшее письмо, где он отстаивал реальность таких фокусов. «Такой-то (ученый) свидетельствует, что при нем угол рояля стал подниматься и отделяться от пола», – и он упрекал меня в нахальном невежестве за то, что я отрицал возможность этого без помощи проволоки или рычага.

Я получил это письмо на Пасху. Мне прислали в тюрьму кулич, в который были вставлены бумажные цветки, посаженные на довольно длинных, очень тонких проволочках. Я закрепил одну из них и подвешивал к ней книги. Оказалось, что проволока из желтой меди, тонкая, как тонкая нитка, выдерживала какое-то просто невероятное число тяжелых книг – я забыл уже их вес, но он был очень большой.

Сообщая Саше результат этого тюремного опыта, я писал ему, что первый попавшийся фокусник поступил бы научнее ученого. Он освидетельствовал бы, не подвязан ли угол рояля к проволоке, и определил бы, какую тончайшую стальную проволоку достаточно было бы подвязать, чтоб приподнять угол рояля.

Но, как и всем кантианцам, Саше и в голову не приходило проверить такие утверждения опытом. Он принимал их на веру, потому что все его мирозерцание, хотя и атеистическое, подготавливало его к принятию таких фактов на веру.

Лучшее выражение своих философских воззрений Саша находил в статье П.Л. Лаврова «Механическая теория мира», которая произвела на него глубокое впечатление еще в юности; он записал ее в число немногих книг, имевших влияние на его развитие. Вообще он вполне сходил в философском мировоззрении, в кантианстве и в отношении к материализму с Лавровым и, уже едучи в Цюрих, чувствовал к нему глубокое уважение. Знакомство с П. Лавровым только усилило это уважение личной дружбой, можно было бы сказать, если бы дружба была возможна при разнице их лет.

В Цюрихе в то время шла жестокая борьба «лавристов» с «бакунистами». Остаться нейтральным в этой борьбе не было возможности. Саша попробовал остаться нейтральным вместе с двумя-тремя «цюришанками»; но за это обе партии относились к нему не особенно дружелюбно. Если бы не его открытая натура, бесконечное добродушие и всеподкупающая доброта, к нему, может быть, отнеслись бы даже враждебно. Но при своей абсолютной правдивости он не мог одобрить способ действий тех, к кому его более влекло по убеждениям, то есть «лавристов», и, когда он порицал их за похищение части библиотеки, на него злились как на врага. Потом, когда он не одобрял избиения Смирнова Соколовым, на него косились «бакунисты», а когда он видел, сколько было притворства в последующем поведении Смирнова и его якобы болезни, происшедшей от побоев, и не одобрял этого, на него косились «лавристы» и т. д. Если бы его не так любили все, лично ему, верно, стало бы неприятно жить в Цюрихе. С Лавровым он, конечно, остался в дружбе, несмотря на все это, так как Лавров хотя и стоял за своих, но едва ли мог одобрять их действия.

Кстати, мне следовало бы рассказать об отношении «чайковцев» к этим ссорам, которые имели свой отголосок и у нас. У нас была своя типография в Цюрихе, которой заведовал сперва некий Александров. Я раз или два видел этого Александрова в Цюрихе мельком и мало с ним говорил, а может быть, только перекинулся несколькими словами. Он был человек высокого роста, плотный, не очень далекий, говорили мне, но умевший воодушевлять молодежь. Около него всегда было несколько наборщиц-студенток, учившихся набирать, которые помогали по типографии.

В Цюрихе говорили тогда об его нехорошем отношении к некоторым барышням; вообще, его не любили. Когда мы решили усилить наше печатание, кружок послал туда Гольденберга, который сменил Александрова. Гольденберг и издал наши брошюры: «Мудрицу Наумовну», «Чтой-то, братцы», «Сказку о четырех братьях», «Пугачевщину», «Слово в Великий пяток» и т. д.

Но кроме своих народных книжек нам хотелось еще поддержать заграничный журнал.

Журналов тогда предполагалось два, один – Лаврова, другой – Бакунина. Лавров хотел сначала издавать конституционный журнал, весьма умеренный, программу которого я видел в Петербурге еще до моего поступления в кружок Чайковского и до поездки за границу, если не ошибаюсь. Помнится, я тогда, не зная Лаврова и никакого движения в Петербурге, отнесся к этой программе с полным равнодушием. В ней не было, сколько помнится, даже намек на рабочее и социалистическое движение.

Потом Лавров усилил эту программу в социалистическом смысле.

Когда я вернулся из-за границы и рассказал мои впечатления об Интернационале в кружке «чайковцев», которого я был уже членом, кружок решил послать в Цюрих своего делегата, который повидался бы и с Лавровым, и с Бакуниным и выбрал бы, который из двух журналов будет более сходен с нашею программю. Я советовал послать Дмитрия, но кружок решил послать Куприянова (Михрютку), к уму которого кружок относился просто с благоговением.

Не знаю, как Куприянов выполнил поручение; бакунисты говорили, что он ни с кем из них и не повидался, а прямо направился к Лаврову и указал ему на необходимость более социалистической программы (третья программа Лаврова), если он хочет работать для нарождавшегося движения молодежи. Факт тот, что, когда он вернулся из-за границы (я ему дал свой паспорт и жил тогда, летом, беспаспортным в Обираловке у Леночки), кружок признал «Вперед» своим органом и оказал денежную поддержку журналу Лаврова. Большинство членов кружка, хотя и знало очень мало о социал-демократизме и анархизме, было и по кружковым связям, и по убеждениям скорее социал-демократами, чем анархистами.

Я вполне и отчасти, может быть, Чарушин, и отчасти Сергей Кравчинский и Дмитрий Клеменц предпочли бы поддержать бакунистский орган или оба, но Корниловы горой стояли за социал-демократический орган, и мы спорить не стали. Все находили, что не из-за чего. Выйдет журнал, понравится – будем его ввозить. Выйдет другой, и если понравится, то и его будем ввозить, а публика читающая сама выберет, что ей лучше. Вообще у нас было свое дело, и мы могли бесстрастно относиться к цюрихской борьбе. Некоторые страстно отнеслись к избиению Смирнова Соколовым; большинство же, хотя кулачную расправу вообще порицало, не защищало ни той, ни другой стороны. Наше собственное дело поглощало нас, и для своего дела мы печатали свои брошюры.

Но первый номер «Вперед» с его статьею о необходимости учения в университетах – когда молодежь шла учиться в народ, а у профессоров учиться и нечему было по общественным наукам, – этот номер почти всех возмутил даже в нашем кружке. Точно повеяло на нас из могилы, и вообще первым номером все остались очень недовольны. Руководителям молодежи приходилось самим руководить, тащить за собою. Так и случилось.

Впрочем, этому журналу мы и не придавали особого значения. Распространяли, а свое дело вели сами по себе, ни на кого из нас увещания Лаврова не произвели никакого впечатления. Помнится, на одном из наших заседаний я заявил, что, если, например, кружок пошлет меня перевозить «Вперед», я это сделаю, но души в это дело не положу. Большинство активных членов в нашем кружке, особенно те, кто работал в рабочей среде, было того же мнения.

Скукой веяло от журналов, тогда как у нас шла кипучая жизнь.

Скажу, наконец, еще о наших изданиях. Я был вместе с Сергеем, Дмитрием и Тихомировым (только их троих и помню) в «Литературном комитете» кружка. Мы собирались в той же квартире, которую держала Перовская – в Казарменном, кажется, переулке, недалеко от Невки.

Из всего, что мы пересматривали, я помню только обе книжки Тихомирова «Сказку о четырех братьях» и «Пугачевщину», потому что я принимал участие в переделке.

«Сказка» всем нам очень понравилась; но когда мы прочли ее заключение, мы совсем разочаровались. У автора четыре брата, натерпевшись от капитала, государства и т. д., сошлись все четверо на границе Сибири, куда их сослали, и заплакали. Сергей и я настаивали, чтобы конец был переделан, и я переделал его и сделал так, как он теперь в брошюре, что они идут на север, на юг, на запад и на восток проповедовать бунт.

Точно так же и в «Пугачевщине» конец был плох. Некоторые замечали, что военные действия Пугачева были изложены по недавно напечатанному тогда исследованию слишком подробно. Сергей и я, военные люди, отстаивали сохранение этих подробностей и находили их ничуть не утомительными, а весьма поучительными. Но зато решили приделать конец, где бы изображен был идеал безгосударственного послереволюционного строя.

Я и написал этот конец в несколько страниц. Моя рукопись попала потом в руки жандармов.

Но возвращаюсь после этого длинного отступления к Саше.

Он жил в Цюрихе, не намереваясь возвращаться вовсе в Россию, когда до него дошла весть о моем аресте.

Он все бросил: и работу, и вольную жизнь, которую любил, и вернулся в Россию помогать мне пробиться в тюрьму.

Шесть месяцев спустя после моего ареста мне дали с ним свидание. В мою камеру принесли мое платье и предложили одеться.

– Зачем? Куда идти? – никто не отвечал на слова. Затем попросили пройти к смотрителю, где меня ждал тот же грузин – жандармский офицер; потом через ворота, а за воротами ждала карета. «В Третье отделение», – вот чего я добился от офицера.

Выехать из крепости, прокатиться по городу – и то уже был праздник; а тут еще повезли по Невскому.

Едучи, я все строил планы, как бы сбежать. Офицер дремал в своем углу. Вот бы потихоньку отворить дверцы кареты, выпрыгнуть и на всем скаку вскочить в карету к какой-нибудь барыне, проезжающей на рысаках. Ускакать от погони было бы нетрудно. Настоящая барыня, впрочем, ни за что не примет, но какая-нибудь из барынь полусвета, пожалуй, не

откажется увезти, если я вскочу к ней в коляску и взмолюсь.

Ну, словом, пофантазировать не мешает. Гораздо серьезнее было, если бы кто-нибудь подъехал к карете, держа запасную лошадь в поводу. Тут можно было бы ускакать.

В Третьем отделении я застал Сашу. Нам дали свидание в присутствии двух жандармов.

Мы оба были очень взволнованы. Саша горячился и много ругал жандармов ворами: «Они все у тебя украли: я не нашел в твоих бумагах таких-то документов, таких-то бумаг». Все эти бумаги за несколько часов до моего ареста я препроводил в такое место, где бы жандармы не могли их найти. Я старался дать ему понять это, шепча на всех языках: «Оставь это!» Он не унимался: «Да нет, я не хочу этого оставить: я разыщу документы». Насилу мне удалось шепнуть по-французски, что бумаги взяты не жандармами.

Саша поднял на ноги всех наших ученых знакомых в Географическом обществе и Академии наук, чтобы добыть мне право писать в крепости. Перо и бумага строго запрещены в крепости, но если Чернышевскому и Писареву было позволено писать, то на это требовалось особое разрешение самого царя.

Саша принялся хлопотать через всех ученых знакомых. Географическому обществу хотелось получить мой отчет о поездке в Финляндию, но оно, конечно, и пальцем бы не двинуло, чтобы получить разрешение мне писать, если бы Саша не шевелил всех. Академия наук была также заинтересована в этом деле.

Наконец разрешение было получено, и в один прекрасный день ко мне вошел смотритель Богородский, говоря, что мне разрешено писать мой ученый отчет и что мне нужно составить список книг, которые мне нужны. Я написал полсотни книг, и он пришел в ужас. «Столько книг ни за что не пропустят, – говорил он, – а вы напишите книг пять-десять, а потом понемногу будете требовать, что вам нужно». Я так и сделал и наконец получил книги, перо и бумагу. Бумага мне выдавалась по столько-то листов, и я должен был счетом иметь ее у себя в полном комплекте; перо же, чернила и карандаши выдавались только до «солнечного заката».

Солнце зимою закатывалось в три часа. Но делать было нечего. «До заката», – так выразился Александр II, давая разрешение.

II. Научная работа в крепости. Изучение истории России

Итак, я мог снова работать.

Трудно было бы выразить, какое облегчение я почувствовал, когда снова мог писать. Я согласился бы жить всю жизнь на хлебе и воде, в самом сыром подвале, только бы иметь возможность работать.

Я был, однако, единственный заключенный в крепости, которому разрешили письменные принадлежности. Некоторые из моих товарищей, которые провели в заключении три года и даже больше, до знаменитого процесса «ста девяносто трех», имели только грифельные доски. Конечно, в страшном уединении крепости они рады были даже доске и исписывали ее словами изучаемого иностранного языка или математическими формулами. Но каково писать, зная, что все будет стерто через несколько часов!

Моя тюремная жизнь приняла теперь более правильный характер. Было нечто, непосредственно наполнявшее жизнь. К девяти часам утра я уже кончал мои первые две версты и ждал, покуда мне принесут карандаш и перья. Работа, которую я приготовил для Географического общества, содержала кроме отчета о моих исследованиях в Финляндии еще обсуждение основ ледниковой гипотезы. Зная теперь, что у меня много времени впереди, я решил вновь написать и расширить этот отдел.

Академия наук предоставила в мое распоряжение свою великолепную библиотеку. Вскоре целый угол моей камеры заполнился книгами и картами, включая сюда полное издание шведской геологической съемки, почти полную коллекцию отчетов всех полярных путешествий и полное издание «Quarterly Journal» Лондонского геологического общества.

Моя книга в крепости разрослась в два больших тома. Первый из них был напечатан братом и моим другом Поляковым (в «Записках» Географического общества); второй же, не совсем оконченный, остался в Третьем отделении после моего побега. Рукопись нашли только в 1895 году и передали Русскому географическому обществу, которое и переслало ее мне в Лондон.

В пять часов вечера, а зимой в три, как только вносили крошечную лампочку, перья и карандаши у меня отбирались, и я должен был прекращать работу. Тогда я принимался за чтение, главным образом, книг по истории. Прочел я также много романов и даже устроил себе род праздника в сочельник. Мои родные прислали мне тогда рождественские рассказы Диккенса. И весь праздник я то смеялся, то плакал над этими чудными произведениями великого романиста.

III. Прогулка в тюремном дворе. Арест брата. Месть Третьего отделения

Хуже всего было полное безмолвие вокруг, невозможность перекинуться словечком с кем бы то ни было. Мертвая тишина нарушалась только скрипом сапог часового, подкрадывающегося к «иуде», да звоном часов на колокольне. Я понимаю, что нервного человека этот звон может доводить до отчаяния. Каждые четверть часа колокола звонят «господи помилуй», раз, два, три, четыре раза. Каждый час после медленного перезвона колокол начинает мерно отбивать часы, а затем начинается перезвон «Коль славен наш господь в Сионе»; зимою, при резких переменах температуры, все колокола отчаянно фальшивят, и эта какофония, точно похоронный перезвон в монастыре, длится добрых пять-шесть минут. А в двенадцать, после всего этого, часы отзванивают еще более фальшиво

«Боже царя храни». Днем все это хоть немного заглушается городским шумом, но ночью весь этот звон как будто тут, где-то вблизи, и, слушая бой колоколов каждые четверть часа, невольно думаешь о том, как прозябание узника идет бесплодно вдали от всех, вдали от жизни. «Еще час, еще четверть часа твоего бесплодного прозябания прошли», – напоминают колокола, и никто не знает, даже сам, кто тебя здесь держит, сколько еще пройдет таких бесплодных часов, дней, годов... много годов, может быть, раньше, чем вспомнят тебя выпустить, или болезнь и смерть откроют тебе двери тюрьмы...

Мертвая тишина кругом...

Напрасно пробовал я стучать в подоконницу направо – нет ответа, налево – нет ответа. Напрасно стучал я полною силою разутой пятки в пол в надежде услышать хоть какой-нибудь, хоть издали, неясный ответный гул его не было ни в первый месяц, ни во второй, ни в первый год, ни в половине второго.

Меня перевели в нижний этаж, покуда верхний чистили или переделывали. Еще меньше света проникало там в каземат, и неба вовсе не было видно; только грязная серая стена из дикого камня стояла перед глазами, и даже голуби не прилетали к окну. Еще темнее было мне чертить свои карты, и только мои крепкие близорукие глаза могли выдерживать мелкую работу ситуаций на маленьких картах, которые я готовил для своего отчета.

Но и там, внизу, ниоткуда не мог я добиться хотя бы глухого стука в ответ на мой стук.

Каждый день, если дождь не лил или пурга не мела, меня выводили гулять. Часов около одиннадцати являлся унтер в мягких войлочных галошах сверх сапог и вносил мою одежду: панталоны, сюртук, сапоги, шубу. Я торопился одеться и радовался, если успевал пройти десяток раз из угла в угол – лишь бы услышать звук своих собственных шагов...

Если я спрашивал крепостного унтера, приносившего платье, хороша ли погода, нет ли дождя, он испуганно взглядывал на меня и уходил, не отвечая; караульный солдат и унтер из караула стояли в дверях и не спускали глаз с крепостного унтера, готовые сфискалить, если бы он заговорил со мною.

Затем меня вели гулять. Я выходил во внутренний дворик редута, где стояла банька и прохаживались два солдатика из караула. Я пытался с ними заговорить, но они молчали.

Я ходил, ходил круговую по тротуарику пятиугольного дворика, и изо дня в день видел все то же и то же. Изредка воробей залетал в этот дворик; иногда, когда вокруг ветер был с той стороны, тяжелые хмурые пары, выходящие из высокой трубы монетного двора, окутывали наш дворик, и все начинали отчаянно кашлять. Иногда, очень редко, видел я девушку, должно быть дочь смотрителя, вышедшую из его крыльца и проходившую шагов десять по тротуару, в ворота, которые тотчас запирали за нею, затем слышался стук другой отпертой калитки, стало быть, она вышла. Она выходила обыкновенно из своей квартиры тогда, когда я был на другой стороне дворика; а если я слышал звонок у калитки и она входила во дворик, возвращаясь домой, ее пропускали тоже так, чтобы не встретиться. И она торопилась пройти, не смея взглянуть, как бы стыдясь быть дочерью нашего смотрителя.

Еще, на праздниках, я несколько раз видел кадетика лет пятнадцати, сына смотрителя. Он всегда так ласково, почти любовно смотрел на меня, что, когда я бежал, я сказал товарищам, что мальчик, наверное, симпатично относится к заключенным. Действительно, я узнал потом, в Женеве, что, едва он вышел в офицеры, он присоединился, кажется, к партии «Народная воля», помогая переписке между революционерами и заключенными в крепости; затем его арестовали и сослали в Восточную Сибирь, в Тунку.

Еще помню я, что летом около бани выросло несколько цветов; голые, худосочные, они все-таки пробивались сквозь камни мощеного дворика на южной стороне бани, и, увидав их, я сошел с тротуарика и подошел к ним. Оба сторожа и унтер бросились ко мне: «Пожалуйста на тротуар». Я подошел к цветкам. Все три стража уставились на меня, стоя вокруг меня, – все удовольствие было испорчено, и я более не стал подходить к цветам.

Вот одно, другое, третье, десятое, пятнадцатое решетчатое окно... а вот опять первое... только и было разнообразия в этом дворике. Раз или два залетел воробей, и это было событие.

И я ходил и обыкновенно глаз не спускал с золоченого шпица Петропавловского собора. Он один менялся изо дня в день, то горя ярким золотом под лучами солнца, то скрывая свой блеск под дымчатую пелену серого легкого тумана, то хмурясь, когда темные свинцовые облака ползли в зимнюю пору над Невой, и шпиц темнел, поднимаясь в небо стальной иглой.

«Эдак и счет дням потеряешь», – говорил я себе и с первого же дня сделал себе календарь.

У меня были две пары очков, одни для письма, другие для улицы, и одна пара была в кожаном футляре, разграфленном квадратными линиями на ромбики. Я сосчитал: их было на обеих сторонах более сотни. Каждый мог сойти за неделю, и, ложась спать, я ножом выдавливал каждый день палочку поперек ромба. Я знал, таким образом, день недели и число.

Большие праздники мне напоминала пушечная пальба, начинавшаяся из пушек нашего бастиона. Один раз началась пальба не в назначенный день и час. Я с трепетом прислушивался – не будет ли сто один выстрел, может быть, царь умер. Но оказалось всего тридцать один выстрел: значит, в царской семье прибавился новорожденный.

Раз тоже, ветер страшно выл на крыше и в щели окон, и раздался пушечный выстрел. Стало быть, наводнение, и воображение рисовало, конечно, известную картину, изображающую княжну Тараканову, на которую взбираются крысы из заливаемого каземата.

Пришла зима, и пришли тяжелые, темные, сумрачные дни. Каземат топили так жарко, что я задыхался. Иногда он наполнялся угаром... Я звонил, просил открыть вьюшку, но это делали неохотно, и трудно было этого добиться.

По вечерам в каземате бывало жарко, как в натопленной бане, и также чувствовалось, что воздух полон парами. Я просил, настаивал, чтобы не топили так жарко, и, как только заслышу, что закрывают трубу, упрашиваю, требую, чтобы не закрывали.

«Сыро у вас будет, очень сыро», – предупреждал полковник, но я предпочитал сырость этой жаркой натопленной и угарной атмосфере и добился, чтобы печь не закрывали так рано.

Тогда наружная стена стала становиться совсем мокрую. На обоях показалась сырость, что дальше, то больше, и наконец желтые полосатые обои стали совсем мокрые, точно на них каждый день выливали кувшины воды. Но выбора не было, и я предпочитал эту сырость жаре, от которой у меня разбалчивалась голова.

Зато ночью я сильно страдал от ревматизма. Ночью вдруг температура в каземате сразу понижалась. По полу шел ток холодного воздуха, и сразу сырость в каземате становилась, как в погребе. Как бы жарко ни было натоплено, ток холодного воздуха шел по коридору, врвался в каземат, пары сгущались. И у меня начинали жестоко ныть колени. Одежда была легкая, но и никакие одеяла бы не помогли: все пропитывалось сыростью, – борода, простыни, – и начиналась «зубная боль» в костях. Еще в Сибири, раз, возвращаясь осенью вверх по Амуру, на пароходе, на узенькой койке, и не имея запасной одежды, чтобы отгородиться от железной наружной стенки парохода, я нажил ревматизм в правом колене. Теперь в крепостной сырости колени отчаянно ныли.

Я спрашивал смотрителя, откуда этот внезапный холод, и он обещался зайти ночью – и зашел раз ночью совершенно пьяный. Впоследствии, в Николаевском госпитале, караульные солдаты говорили мне, что смотритель с ними пьянствовал и по ночам по-фельдфебельски. Вероятно, караульные и выходили проветриться, и оттого по коридору несло холодным воздухом.

Единственная человеческая речь, которую я слышал, была по утрам, когда смотритель заходил ко мне.

– Здравствуйте. Не нужно ли чего купить?

– Да, пожалуйста, четверть фунта табаку и сотню гильз.

– Больше ничего?

– Нет, ничего.

Только и было разговора. Я сам набивал папиросы. «Все-таки занятие», – посоветовал смотритель с первого же дня.

Я продолжал бегать свои семь верст по каземату, делал свои двадцать минут гимнастики, но зима брала свое. Становилось все темнее и темнее: иногда, когда небо было сумрачное, и в два часа ничего не было видно, а в десять часов утра в каземате бывало еще совсем темно.

Мрачно становилось на душе в эти темные дни; а когда показывалось солнце, оно и не доходило до каземата, и лучи его терялись в толщине стены, освещая какой-нибудь уголок амбразуры.

Мрачные зимние дни скучны в Петербурге, если сидеть в комнате, не выходя на людные, освещенные улицы. Еще скучнее и мрачнее они в крепостном каземате. А тут еще нахлынуло горе: Сашу арестовали.

Он приехал ко мне на свидание с Леною в день моих именин, 21 декабря[25]. Он не хотел пропустить этого дня и добился свидания в этот день. Я хотел передать ему записку обычным способом, но его записка встретилась с моею, и моя упала на пол. Я в ужас пришел. Это было в минуту прощания. Тут присутствовал только смотритель. Надо было выходить. Я вышел с Леною, Саша остался. Я нарочно взял Лену в руки, держа ее крепко, стоя у окна, и смотритель стоял тут же, пока Саша искал записку, крошечный коричневый сверточек, на полу. Наконец он вышел и ответил мне кивком головы: «Нашел».

Мы расстались. Но тяжело было у меня на душе.

Через несколько дней я должен был получить от брата письмо касательно печатания книги. Письма не было. Я чувствовал что-нибудь неладное, и начались для меня дни ужасных тревог. «Арестовали», – думал я, и молчание, все более и более подозрительное, как свинцом, давило меня.

Через неделю после свидания, вместо ожидаемого письма от брата с сообщением о печатании моей книги, я получил короткую записку от Полякова. Он уведомлял меня, что с этих корректур будет читать он, и поэтому я должен сноситься с ним обо всем касающемся печатания. Я тотчас же понял, что с братом случилось недоброе. Если бы он заболел, Поляков так и написал бы. Для меня наступили теперь тяжелые дни. Александра наверно заарестовали, и я причина этому. Жизнь утратила для меня всякий смысл. Прогулки, гимнастика, работа потеряли всякий интерес. Весь день я бесцельно шагал взад и вперед по камере и не мог думать ни о чем другом, как только об аресте брата. Для меня, одинокого человека, заключение означало только личное неудобство; но Александр был женат, страстно любил жену и имел теперь сына, на которого не мог надыхаться. Родители сосредоточили на этом мальчике всю ту любовь, которую питали к двум детям, умершим три года тому назад.

Хуже всего была неизвестность. Что такое мог он сделать? Почему его арестовали? К чему они его присудят? Проходили недели. Моя тревога усиливалась, новостей не было никаких. Наконец окольным путем я узнал, что Александра арестовали за письмо к П. Л. Лаврову.

Подробности я узнал гораздо позже. После свидания со мной Александр написал письмо своему старому приятелю Петру Лавровичу Лаврову, издававшему в то время в Лондоне «Вперед». В письме он выражал свое беспокойство по поводу моего здоровья, говорил о многочисленных арестах и открыто высказывал свою ненависть к русскому деспотизму. Третье отделение перехватило письмо на почте и послало как раз в сочельник произвести обыск у брата, что жандармы и выполнили, даже с еще большей грубостью, чем обыкновенно. После полуночи полдюжины людей ворвались в его квартиру и перевернули вверх дном решительно все. Они ощупывали стены и даже больного ребенка вынули из постели, чтобы обшарить белье и матрац. Они ничего не нашли, да и нечего было находить. Мой брат был сильно возмущен этим обыском. С обычной откровенностью он заявил

жандармскому офицеру, производившему осмотр: «Против вас, капитан, я не могу питать неудовольствия: вы получили такое ничтожное образование, что едва понимаете, что творите. Но вы, милостивый государь, – обратился он к прокурору, – вы знаете, какую роль играете во всем этом. Вы получили университетское образование. Вы знаете закон и знаете, что попираете сами закон, какой он ни на есть, и прикрываете вашим присутствием беззаконие вот этих людей. Вы, милостивый государь, попросту мерзавец».

Они возненавидели брата и продержали его в Третьем отделении до мая. Ребенок Александра, прелестный мальчик, которого болезнь сделала еще более нежным и умным, умирал от чахотки. Доктора сказали, что ему остается жить всего несколько дней. Брат, никогда не хлопотавший у врагов ни о какой милости, просил разрешить ему повидаться в последний раз с ребенком; он просил отпустить его на полчаса домой, на честное слово или под конвоем. Ему не разрешили. Жандармы не могли отказать себе в этой мести.

Ребенок умер. Мать его снова чуть не погибла от нервного удара. В это время брату объявили, что его пошлют в Минусинск повезут его туда в кибитке с двумя жандармами, а что касается жены, то она может следовать потом, но не должна ехать теперь вместе с мужем.

– Скажите же мне наконец, в чем мое преступление? – требовал брат. Но никаких обвинений, кроме письма, против Александра не было. Ссылка казалась всем таким произволом, она до такой степени была актом личной мести со стороны Третьего отделения, что никто из наших родственников не допускал, чтобы она могла продолжаться больше чем несколько месяцев. Брат подал жалобу министру внутренних дел. Тот ответил, что не может вмешиваться в постановление шефа жандармов. Подана была другая жалоба, Сенату, и тоже без последствий.

Года два спустя по собственной инициативе наша сестра Елена подала прошение царю. Мой двоюродный брат Дмитрий, харьковский генерал-губернатор и флигель-адъютант Александра II, большой фаворит при дворе, лично вручил прошение, прибавив несколько слов от себя. Он был глубоко возмущен действием Третьего отделения. Но мстительность составляет фамильную черту Романовых, и в Александре II она была особенно развита. На прошение царь ответил: «Пусть посидит!» Брат пробыл в Сибири двенадцать лет и уже больше не возвратился в Россию.

IV. Перестукивание заключенных.

Неожиданный визит брата царя

Николая Николаевича

Бесчисленные аресты, произведенные летом 1874 года, и тот серьезный характер, который полиция придала намерениям нашего кружка, произвели глубокую перемену в воззрениях русской молодежи. До тех пор главной ее задачей было выбирать из рабочих, а также

иногда из крестьян, отдельных людей, чтобы готовить из них социалистических агитаторов. Но теперь фабрики были наводнены шпионами, и стало очевидно, что во всяком случае и пропагандистов, и рабочих скоро заберут и навсегда упрячут в Сибирь. Тогда великое движение «в народ» приняло новый характер. Сотни молодых людей, пренебрегая всеми предосторожностями, которые принимались до тех пор, устремились в провинцию. Странствуя по городам и деревням, они подстрекали народ к бунту и почти открыто распространяли революционные брошюры, песни и прокламации. В наших кружках это время прозвали «безумным летом».

Жандармы потеряли голову. Не хватало рук, чтобы ловить, и глаз, чтобы выслеживать каждого революционера в его хождении из губернии в губернию. Тем не менее, около полутора тысяч человек было арестовано во время этой великой травли, и половину их продержали в тюрьмах несколько лет.

Результаты массовых арестов скоро почувствовались и у нас, в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Он начал заселяться вновь прибывающими узниками.

Раз, летом 1875 года, я ясно расслышал в соседней с моею камере легкий стук каблуков, а несколько минут спустя я уловил и отрывки разговора. Женский голос слышался из каземата, а в ответ ему ворчал густой бас, должно быть часового. Вскоре вслед за тем послышался звон шпор полковника, поспешные его шаги, ругательство по адресу часового и щелканье ключа «в замке. Полковник сказал что-то.

– Мы вовсе не разговаривали, – раздался в ответ женский голос. – Я просила только позвать унтер-офицера, а часового отказывался.

Дверь опять заперли, и я слышал, как полковник вполголоса честил часового.

Итак, я был уже не один. У меня была соседка, которая сразу нарушила строгую дисциплину, связывавшую до тех пор солдат[26]. С этого дня крепостные стены, которые были немы пятнадцать месяцев, ожили. Со всех сторон я слышал стук ногой о пол: один, два, три, четыре... одиннадцать ударов, двадцать четыре удара, пятнадцать. Затем пауза; после нее – три удара и долгий ряд тридцати трех ударов. В том же порядке удары повторялись бесконечное число раз, покуда сосед догадывался, что они означают вопрос: «Кто вы?» Таким образом «разговор» завязывался и велся затем по сокращенной азбуке, придуманной еще декабристом Бестужевым. Азбука делится на шесть рядов, по пяти букв в каждом. Каждая буква отмечается своим рядом и своим местом в ряду.

К великому моему удовольствию, я открыл, что с левой стороны сидел мой друг Сердюков, с которым мы вскоре могли перестукиваться обо всем, в особенности употребляя наш шифр.

Однако беседы с людьми в тюрьме приносят не только свои радости, но и свои горести. Подо мной сидел крестьянин, по фамилии Говоруха, знакомый Сердюкова, с которым он перестукивался. Против мой воли часто даже во время работы я следил за их переговариванием. Я тоже перестукивался с ним. Но если одиночное заключение без всякой работы тяжело для интеллигентных людей, то гораздо более невыносимо оно для крестьянина, привыкшего к физическому труду и совершенно неспособного читать весь

день подряд. Наш приятель-крестьянин чувствовал себя очень несчастным. Его привезли в крепость, после того как он посидел уже два года в другой тюрьме, и поэтому он был уже надломлен. Преступление его состояло в том, что он слушал социалистов. К великому моему ужасу, я стал замечать, что крестьянин порой начинает заговариваться. Постепенно его ум все больше затуманивался, и мы оба с Сердюковым замечали, как шаг за шагом, день за днем он приближался к безумию, покуда разговор его не превратился в настоящий бред. Тогда из нижнего этажа стали доноситься дикие крики, и страшный шум. Наш сосед помешался, но его тем не менее еще несколько месяцев продержали в крепости, прежде чем отвезли в дом умалишенных, из которого несчастному не суждено уже было выйти. Присутствовать при таких условиях при медленном разрушении человеческого ума – ужасно. Я уверен, это обстоятельство содействовало увеличению нервной раздражительности моего милого Сердюкова. Когда после четырех лет заключения суд оправдал его и его выпустили, он застрелился.

Раз мне нанесли неожиданный визит. В мою камеру в сопровождении только адъютанта вошел брат Александра II великий князь Николай Николаевич, осматривавший крепость. Дверь захлопнулась за ним. Он быстро подошел ко мне и сказал: «Здравствуй, Кропоткин». Он знал меня лично и говорил фамильярным, благодушным тоном, как со старым знакомым.

– Как это возможно, Кропоткин, чтобы ты, камер-паж, бывший фельдфебель, мог быть замешан в таких делах и сидишь теперь в этом ужасном каземате?

– У каждого свои убеждения, – ответил я.

– Убеждения? Так твое убеждение, что нужно заводить революцию?

Что мне было отвечать? Сказать «да»? Тогда из моего ответа сделали бы такой вывод, что я, отказавшийся давать какие бы то ни было показания жандармам, «признался во всем» брату царя. Николай Николаевич говорил тоном начальника военного училища, пытающегося добиться «признания» от кадета. И в то же время я не мог ответить «нет». То была бы ложь, я не знал, что сказать, и молчал.

– Вот видишь! Самому тебе стыдно теперь...

Это замечание разозлило меня, и я ответил довольно резко:

– Я дал свои показания судебному следователю на допросах: мне нечего прибавлять.

– Да ты пойми, Кропоткин, – сказал тогда Николай Николаевич самым благодушным тоном, – я говорю с тобой не как судебный следователь, а совсем как частный человек. Совсем как частный человек, – прибавил он, понизив голос.

Мысли вихрем кружились у меня в голове. Сыграть роль маркиза Позы? Передать царю через посредство его брата о разорении России, об обнищании крестьян, о произволе властей, о неминуемом страшном голоде? Сказать, что мы хотели помочь крестьянам выйти из их отчаянного положения, придать им бодрости? Попытаться таким образом повлиять на Александра II? Мысли эти мелькали одна за другой у меня в голове. Наконец, я сказал

самому себе: «Никогда! Это – безумие. Они все это знают. Они – враги народа, и такими речами их не переделаешь».

Я ответил, что он для меня всегда остается официальным лицом и что я не могу смотреть на него как на частного человека.

Николай Николаевич стал тогда задавать мне всякие безразличные вопросы:

– Не в Сибири ли от декабристов ты набрался таких взглядов?

– Нет. Я знал только одного декабриста и с тем никогда не вел серьезных разговоров.

– Так ты набрался их в Петербурге?

– Я всегда был такой.

– Как! Даже в корпусе? – с ужасом переспросил он меня.

– В корпусе я был мальчиком. То, что смутно в юности, выясняется потом, когда человек мужает.

Он задал мне еще несколько подобных вопросов, и по его тону я ясно понимал, к чему он ведет. Он пытался добиться от меня «признаний», и я живо представил себе мысленно, как он говорит своему брату: «Все эти прокуроры и жандармы – дураки. Кропоткин им ничего не отвечал, но я поговорил с ним десять минут, и он все мне рассказал». Все это начинало меня бесить. И когда Николай Николаевич заметил мне нечто вроде: «Как ты мог иметь что-нибудь общее со всеми этими людьми, с мужиками и разночинцами», – я грубо отрезал: «Я вам сказал уже, что дал свои показания судебному следователю». Он резко повернулся на каблуках и вышел.

Впоследствии часовые, гвардейские солдаты, сложили целую легенду по поводу этого посещения. Товарищ (известный доктор О. Э. Веймар), приехавший потом во время моего побега в пролетке, чтобы освободить меня, был в военной фуражке. Светлые бакенбарды придавали ему слабое сходство с Николаем Николаевичем. И вот среди петербургского гарнизона пошла тогда легенда, что меня увез сам великий князь. Таким образом, легенды могут складываться даже в век газет и биографических словарей.

V. Результаты тюремного заключения.

Допросы в следственной комиссии.

Перевод в Николаевский военный госпиталь. Побег. На английском

пароходе

Два года прошло, а наше дело не подвигалось. Два года предварительного заключения, во время которых много заарестованных сошло с ума или покончило самоубийством.

Все новых и новых социалистов хватало по всей России, а число их не убывало. Новые люди приставали к движению, оно проникало в новые сферы, захватывая все большие и большие массы людей. Движение «в народ» разрасталось. Пример – Н. Н. Ге. Большой художник в полной силе таланта, окруженный славой за свои картины, бросает Петербург в 1878–1879 годах и едет в Малороссию, говоря, что теперь не время писать картины, а надо жить среди народа, в него внести культуру, в которой он запоздал против Европы на тысячу лет, у него искать идеалов, словом, делать то, что делали тысячи молодых людей.

Л. Н. Толстой делает то же и выступает со своими письмами о московской переписи, только подходит к тем же результатам другим путем: делает то же, что делали нигилисты за последние пятнадцать лет, под влиянием культурных и революционных импульсов, но ища оправданий своей перемены в христианстве.

Отказавшись давать какие-либо показания, я этим купил себе спокойствие. Меня уже больше не тревожили и только два раза водили на допрос. Следственная комиссия заседала теперь в крепости, в куртине, соединяющей Екатерининский бастион со следующим влево, тут сидели в 1866 году каракозовцы. Тут же заключенные давали и показания.

Председателем следственной комиссии был жандармский полковник Новицкий – человек чрезвычайно деятельный, умный и, если бы не его жандармская деятельность – даже приятный человек: ничуть не злой в душе.

Раз меня привели к нему Он усадил меня в кресло, предложил своих папирос, от которых я отказался, закурил свою, и показал мне мою рукопись. Это был написанный мною конец к брошюре «Пугачевщина» Тихомирова. Рядом была наша брошюрка, напечатанная в Цюрихе уже после моего ареста. Я очень ей обрадовался: «Ах, покажите, пожалуйста, я ее еще не видел».

Он принялся читать по моей рукописи, предлагая мне следить по печатной брошюрке, очень мило отпечатанной хорошим четким шрифтом без опечаток. Новицкий читал отлично и понемногу стал увлекаться, картина вольных общин, соединенных вольными союзами, владеющих всей землей, без попов, господ и чиновников, управляющихся вечем и вступающих в союз, как средневековые общины, была набросана довольно увлекательно, и Новицкий читал с жаром, увлекаясь все более и более.

Вдруг он прервал со смехом и обратился ко мне:

– Да неужели, князь, вы верите, что все это возможно среди нашей русской тьмы? Все это прекрасно, чудно, но ведь на это надо двести лет по крайней мере.

– А хоть бы и триста.

– Итак, вы признаете, что это ваша рукопись?

– Конечно.

– И это с нее отпечатано?

– Сами видите.

– Мне только нужно было вам это показать. Вы можете, если хотите, вернуться.

– Да, – ответил я, – все это прекрасно, великолепно, а пока – пожалуйста в крепость.

Он переконфузился... встал провожать меня и в дверях, протягивая мне руку, которую я не взял, опять пустился в излияния:

– Ах, князь, я уважаю вас, глубоко уважаю за ваш отказ давать показания. Но если бы вы только знали, какой вред вы себе делаете. Я не смею говорить, но одно говорю – у-жас-ный.

Я пожал плечами и вышел.

Через несколько времени меня опять позвали еще раз, последний, в следственную комиссию. В дверях показался прокурор Масловский, и я уже собрался подразнить его показаниями Полякова, но он только показался в дверях, перекинулся взглядом с Новицким и выбежал.

У Новицкого на столе лежало мое письмо, взятое на мне в момент ареста, с двумя паспортами. Это была коротенькая записка шифром, в которой я писал в Москву: «Вот вам два паспорта, переделайте их так-то». Я не успел ее отправить, когда был арестован. При аресте я не отказывался, конечно, что она написана моей рукой.

– Вот, – начал он, – ваша записка, отобранная у вас два года тому назад. Она написана шифром, и я даю вам мое честное и благородное слово, что ключ к шифру найден на одном из ваших товарищей (он был найден у Войнаральского, которому кто-то из кружка вопреки всем уговорам дал его, хотя Войнаральский и не был членом кружка, и Войнаральский записал его в свою записную книжку. Масса писем, писанных этим шифром, была уже в руках Третьего отделения. Замечу, кстати, что, хотя наш шифр был самый простейший – он напечатан в обвинительном акте процесса 193-х – и хотя эксперты хвастают, что они разбирают всякие шифры, но, прежде чем ключ был найден у Войнаральского, ни одного письма они не прочли).

Шифр был самый простой, в десять слов, которые следовало помнить, не записывая:

Пустынной Волги берега
Чернеют серых юрт рядами
Железный финогеша Щебальский.

Начало его я взял из стихотворения Рылеева:

Пустынной Лены берега

Чернеют темных юрт рядами.

Каждая буква обозначалась словом и местом буквы в слове.

П было 11, У было 12, С было 13 или 51, или 07 (10-е слово, 7-я буква). Буквы, часто встречающиеся, как Е или А, обозначались, как видно, разно: 32, 34, 42, 72, 86 или 02 для Е и 36, 74, 88, 04 для А.

Расшифровать такой шифр невозможно, тем более что мы писали сплошь, иногда ставя нечетное число букв в начале письма и в конце и еще запутывая расшифровку ненужными парами, как 26, 27, 28, 29, 20, вставленными там и сям.

- Если вы знаете ключ, так зачем же вы меня спрашиваете?

- Даю вам честное слово, что мы знаем его, но мы хотели спросить вас.

- Совершенно напрасно. Удивляюсь, как вы, умный человек, не поняли, что не стоило меня беспокоить из-за такого вопроса. Вы же знаете, что я вам никакого ключа не открою.

- Да... - бормотал он... - вот и перевод вашей записки...

- И читать его не намерен. Записка - моя, перевод - ваш. Если вы думаете, что перевод верен - на здоровье. Не мое дело его проверять.

- Да, я знал, я предвидел, конечно, но долг службы.

- И желание выслужиться? Да? Ну, прощайте.

Когда я встал, вбежал Масловский, должно быть, подслушивавший у дверей.

- Ну, что?

- Я говорил вам, что напрасно было тревожить князя. Конечно, он ничего не знает...

- Ах, князь, - начал было он опять, провожая меня в коридоре.

- Прощайте, - сказал я и вышел со своей сворой конвойных.

Тем и кончились мои допросы.

Расскажу уже заодно, что, когда я был в доме предварительного заключения, куда меня перевели в марте или апреле в 1876 году, говорили, что теперь дело передано в суд и скоро мы будем судиться.

Меня потребовали к прокурору судебной палаты, некоему Шубину. Меня провели внутренним ходом из тюрьмы в здание суда, и там у стола сидел прокурор Шубин и писарь. Кипы исписанных фолиантов лежали на столе.

Я никогда не видал человека противнее этого маленького прокурора Шубина. Лицо бледное, изможденное развратом; большие очки на подслеповатых глазах; тоненькие злющие губы; волосы неопределенного цвета; большая квадратная голова на крошечном теле. Ломброзо, наверное, зачислил бы его в представители «преступного типа». Я сразу, поговорив с ним о чем-то, возненавидел его.

Шубин объяснил мне, что теперь предварительное следствие закончено и дело передано судебному ведомству. Теперь он обязан показать мне все имеющиеся против меня показания.

Их оказалось немного.

Один из заводских – один из кружка в тридцать пять человек – показал, что я бывал у рабочих и читал им лекции революционного содержания. Это был один юноша – не назову его, так как он, кажется, просто проболтался. Его приводили раз, кажется к Новицкому, на очную ставку. Меня спросили, читал ли я лекции рабочим... Я ответил, что никаких показаний давать не буду. Тогда в комнату ввели белокурого, конфузящегося молодого человека...

– Я вас не знаю, – сказал я очень резко, как только он переступил порог, не давши времени прокурору произнести полслова.

Молодой человек переконфузился...

– Я не знаю, не помню, я, кажется, их видел... не помню, – забормотал он.

– Я вас не знаю, никогда не видал, – крикнул я на него, он еще больше сконфузился, и прокурор, видя, что он готов отказаться от показаний, поторопился его вывести.

Сцена не продолжалась и двух минут.

Так вот, было его показание, что бывали у них лекции и на этих лекциях бывал я.

Потом еще одно показание Егора – пустого-таки мужика, который околачивался около тех двух ткачей; он показал, что я бывал у них и говорил, что мужикам худо без земли и надо землю отобрать у помещиков. Затем были два показания двух ткачей, что я говорил им, что надо всех – долой и что царя надо убить... Егор и другой (забыл имя) были шпионами.

Все это была чистейшая выдумка, так как вся система наша, и особенно моя, была тогда такова, что нам до царя никакого нет дела, а поднимется крестьянский бунт, так царь, пожалуй, еще сам убежит к немцам; что суть не в царе, а в том, кто землей владеет. Но с этими двумя ткачами я и в разговоры не пускался, так как познакомился с ними, когда они промотали восемь рублей, данные им на наем квартиры, за что я их порядком поругал.

Увидя такое показание, я сразу понял, что оно продиктовано следователями, известно с какой целью.

– Ну, этаких свидетелей я вам по двадцать пять рублей сколько хотите найду, – сказал я.

– А кто же это, позвольте спросить, – зашипел Шубин, – будет им платить?

Я подумал секунду:

– Вы, – сказал я, видя его злобное лицо, и ткнул в его направление пальцем.

Он просто позеленел от злости. Не то что побледнел или пожелтел, нет, так-таки зеленым стал.

Я продолжал просматривать, что еще будет против меня. Протоколы о программе, писанной моей рукой, о конце «Пугачевщины», тоже моя рукопись, которую бог знает зачем берегли товарищи, о шифрованном письме.

– Ничего больше?

– Вот еще, – подсунул писарь другое толстейшее дело, заложенное бумажками.

Показания заводских, что они не помнят, чтобы я говорил против царя.

И показания милейшего Якова Ивановича: «Таких речей не слыхал, а что Бородин сильно бранил такого-то и такого-то (обоих ткачей) за то, что они промотали деньги, данные им, чтобы нанять квартиру, точно помню; сильно бранил: не мотайте, мол, денег попусту».

– Только?

– Только.

Я взял перо и на подложенном листе написал крупным почерком, что никаких показаний до суда давать не намерен.

А годы шли, и мы все сидели в крепости. Вот уже два года прошло; несколько человек умерло в крепости, несколько сошло с ума, а о суде ничего не было слышно.

Мое здоровье тоже пошатнулось в конце второй зимы. Табуретка становилась тяжела в руке, делать мои семь верст мне становилось все труднее и труднее. Я крепился, но «арктическая зимовка», без подъема сил летом, брала свое. У меня уже раньше были признаки цинги: раз весной она объявилась у меня в слабой степени в Петербурге. Должно быть, я вывез ее из сибирских путешествий на одном хлебе, а петербургская жизнь и усиленная работа в маленькой комнатке не способствовали полному избавлению.

Теперь, во тьме и сырости каземата, да еще при усиленной мозговой работе, признаки цинги становились яснее: желудок беспрестанно отказывался переваривать пищу. К тому же на прогулку меня выводили теперь только на двадцать минут или четверть часа, через два дня. В короткие зимние дни за пять-шесть часов успевали выпустить всего двадцать человек в день, а нас, заключенных, было свыше шестидесяти человек.

В марте или апреле 1876 года нам наконец сообщили, что Третье отделение закончило предварительное дознание. Дело перешло к судебным властям, и потому нас перевели в дом предварительного заключения – в тюрьму, примыкающую к зданию суда.

«Предварительная», как ее называли, – громадная показная четырехэтажная тюрьма, выстроенная по типу французских и бельгийских образцовых тюрем. Ряды маленьких камер все имеют по окну, выходящему во двор, и по двери, открывающейся на железный балкон. Балконы же различных этажей соединены железными лестницами.

Для многих моих товарищей перевод в «Предварилку» явился большим облегчением. Здесь было гораздо больше жизни, чем в крепости, больше возможности переписываться и переговариваться; легче было добиться свидания с родственниками. Перестукивание продолжалось беспрерывно целый день. Подобным путем я даже изложил одному молодому соседу всю историю Парижской Коммуны от начала до конца. Нужно прибавить, однако, что я выстукивал мою историю целую неделю. Что касается здоровья, то в доме предварительного заключения мне стало еще хуже, чем в крепости. Я не выносил спертого воздуха крошечной камеры. Как только паровое отопление начинало действовать, температура из ледящей становилась невыносимо жаркой. Камера имела только четыре шага по диагонали, и когда я начинал ходить, то приходилось беспрестанно поворачиваться; голова начинала кружиться через несколько минут, а короткая прогулка в маленьком дворике, окруженном высокими каменными стенами, нисколько не освежала меня. Что касается тюремного врача, который не желал даже слышать слова «цинга» в «его тюрьме», то лучше о нем совсем не говорить. Кончилось тем, что я вовсе не мог переваривать даже легкой пищи.

Мне разрешили получать пищу из дому, так как недалеко от суда жила одна моя свояченица, вышедшая замуж за адвоката. Но мое пищеварение стало так плохо, что я съедал в день только кусок хлеба да одно или два яйца. Силы мои быстро падали, и, по общему мнению, мне оставалось жить только несколько месяцев. Чтобы подняться до моей камеры, находившейся во втором этаже, я должен был раза два отдышаться на лестнице. Помню, как-то раз старый солдат-часовой жалостливо заметил: «Не дожить тебе, сердешному, до осени».

Родственники мои сильно встревожились. Сестра Лена пробовала хлопотать, чтобы меня выпустили на поруки; но прокурор Шубин ответил ей с сардонической усмешкой: «Доставьте свидетельство от врача, что брат ваш умрет через десять дней, тогда я его освобожу». Прокурор имел удовольствие видеть, как сестра упала в кресло и громко разрыдалась в его присутствии. Мои родные, однако, добились того, чтобы меня осмотрел хороший доктор, профессор, ассистент Сеченова. Он осмотрел меня самым тщательным образом и пришел к заключению, что у меня нет никакой органической болезни, но что страдаю я главным образом от недостатка окисления крови.

– Все, что вам нужно, это – воздух, – заключил он. Он колебался несколько минут, затем сказал решительно: – Что там толковать! Вы не можете оставаться здесь. Вас необходимо перевести.

Дней через десять после этого меня действительно перевели в находившийся тогда на окраине Петербурга Николаевский военный госпиталь, при котором имеется небольшая тюрьма для офицеров и солдат, заболевших во время нахождения под следствием. В эту тюрьму перевели уже двух моих товарищей, когда стало очевидно, что они скоро умрут от чахотки.

В госпитале я начал быстро поправляться. Мне дали просторную комнату в нижнем этаже, рядом с караульной. В ней было громадное, забранное решеткой окно, выходившее на юг, на маленький бульвар, обсаженный двумя рядами деревьев, а за бульваром тянулось большое открытое пространство, где несколько десятков плотников строили тогда бараки для тифозных больных. По вечерам они обыкновенно пели хором, и так согласно, как только поют в больших плотничьих артелях. По бульварчику взад и вперед ходил часовой; его будка стояла против моего окна.

Окно оставалось открыто весь день, и я упивался солнечными лучами, которых не видал так давно. Всей грудью вдыхал я ароматный майский воздух. Мое здоровье быстро поправлялось, слишком даже быстро, по моему мнению. Скоро я был в состоянии переваривать легкую пищу, силы мои окрепли, и с обновленной энергией я принялся снова за работу. Не видя возможности закончить второй том моего труда, я написал короткое, но довольно обстоятельное, в виде тезисов, изложение неоконченных еще глав, которое и было приложено к первому тому.

В крепости я слышал от товарища, сидевшего одно время в госпитальной тюрьме, что оттуда мне будет нетрудно бежать. Я сообщил, конечно, друзьям, где нахожусь; сообщил и свои надежды. Побег оказался, однако, гораздо более трудным делом, чем меня уверяли. За мной учрежден был самый бдительный, беспримерный до того времени надзор. У моих дверей поместили часового, и мне никогда не позволяли выходить в коридор. Госпитальные солдаты и караульные офицеры, которые иногда входили ко мне, боялись, по-видимому, оставаться со мной более одной или двух минут.

Мои друзья составили несколько планов освобождения, и в том числе проекты весьма забавные. По одному из них, например, я должен был подпилить решетку в окне. Затем предполагалось, что, когда в дождливую ночь часовой задремлет в своей будке, два моих приятеля подползут сзади и опрокинут ее. Таким образом, солдат не будет ранен, но просто пойман, как мышь в мышеловке. В это время я должен был выпрыгнуть из окна... Но неожиданно явилось лучшее разрешение вопроса.

– Попроситесь на прогулку! – шепнул мне раз один из солдат. Я так и сделал. Доктор поддержал меня, и мне разрешили ежедневно в четыре часа выходить в тюремный двор на прогулку на один час. Я должен был носить все-таки зеленый фланелевый больничный халат, но мне выдавали мои сапоги, панталоны и жилет.

Никогда я не забуду мою первую прогулку. Когда меня вывели и я увидел перед собой заросший травой двор, в добрых триста шагов в глубину и шагов двести в ширину, – я просто замер. Ворота были отперты, и сквозь них я мог видеть улицу, громадный госпиталь напротив и даже прохожих... Я остановился на крылечке тюрьмы и оцепенел на мгновение

при виде этого двора и ворот. У одной из стен двора стояла тюрьма – узкое здание, шагов полтора в длину, с будками для часовых на обоих концах. Оба часовых ходили взад и вперед вдоль здания и таким образом вытоптали тропинку в траве. По этой тропинке мне и велели гулять, а часовые тем временем продолжали ходить взад и вперед, так что один из них был всегда не дальше как шагов в десяти или пятнадцати от меня.

На противоположном конце громадного двора, обнесенного высоким забором из толстых досок, несколько крестьян сбрасывали с возов дрова и складывали их в поленницы вдоль стены. Ворота были открыты, чтобы впускать возы.

Эти открытые ворота производили на меня чарующее впечатление. «Не надо глядеть на них», – говорил я самому себе и тем не менее все поглядывал в ту сторону. Как только меня опять ввели в комнату, я тотчас же написал друзьям, чтобы сообщить им благую весть. «Я почти не в силах шифровать, – писал я дрожащей рукой, выводя непонятные значки вместо цифр. – От этой близости свободы я дрожу как в лихорадке. Они меня вывели сегодня во двор. Ворота отперты, и возле них нет часового. Через эти ворота я убегу. Часовые не поймут меня». И я набросал план побега: «К воротам госпиталя подъезжает дама в открытой пролетке. Она выходит, а экипаж дожидается ее на улице, шагах в пятнадцати от моих ворот. Когда меня выведут в четыре часа на прогулку, я некоторое время буду держать шляпу в руках; этим я даю сигнал тому, который пройдет мимо ворот, что в тюрьме все благополучно. Вы должны мне ответить сигналом: “Улица свободна”. Без этого я не двинусь. Я не хочу, чтобы меня словили на улице. Сигнал можно подать только звуком или светом. Кучер может дать его, направив своей лакированной шляпой светового “зайчика” на стену главного больничного здания; еще лучше, если кто-нибудь будет петь, покуда улица свободна; разве если вам удастся нанять серенькую дачу, которую я вижу со двора, тогда можно подать сигнал из окна. Часовой побежит за мной, как собака за зайцем, описывая кривую, тогда как я побегу по прямой линии. Таким образом, я удержу свои пять-шесть шагов расстояния. На улице я прыгну в пролетку, и мы помчимся во весь опор. Если часовой вздумает стрелять, то тут ничего не поделаешь. Это – вне нашего предвиденья. Ввиду неизбежной смерти в тюрьме – стоит рискнуть».

Было сделано несколько других предложений; но в конце концов этот проект приняли. Наш кружок принял за дело. Люди, которые никогда не знали меня, приняли участие, как будто дело шло о дорогом им брате. Предстояло, однако, преодолеть массу трудностей, а время мчалось с поразительной быстротой. Я усиленно работал и писал до поздней ночи; но здоровье мое улучшалось тем не менее с быстротой, которая приводила меня в ужас. В первый раз, когда меня вывели во двор, я только мог ползти по тропинке по-черепашьи. Теперь же я окреп настолько, что мог бы бегать. Правда, я по-прежнему продолжал ползти медленно, как черепаха, иначе мои прогулки прекратились бы; но моя природная живость могла всякую минуту выдать меня. А товарищи мои должны были в это время подобрать человека двадцать для этого дела, найти подходящую лошадь и опытного кучера и уладить сотню непредвиденных мелочей, неминуемых в подобном заговоре. Подготовления заняли уже около месяца, а между тем каждый день меня могли перевести обратно в дом предварительного заключения.

Наконец день побега был назначен – 29-е июня, день Петра и Павла. Друзья мои внесли струйку сентиментальности и хотели освободить меня непременно в этот день. Они сообщили мне, что на мой сигнал: «В тюрьме все благополучно», – они ответят: «Все благополучно и у нас», – выпустив красный игрушечный шар. Тогда подъедет пролетка и кто-нибудь будет петь песню, покуда улица свободна.

Я вышел 29 июня, снял шапку и ждал воздушного шара; но его не было. Прошло полчаса. Я слышал, как прошумели колеса пролетки на улице; я слышал, как мужской голос выводил незнакомую мне песню, но шара не было.

Прошел час, и с упавшим сердцем я возвратился в свою комнату. «Случилось что-нибудь недоброе, что-нибудь неладно у них», – думал я.

В тот день случилось невозможное. Около Гостиного двора, в Петербурге, продаются всегда сотни детских шаров. В этот же день не оказалось ни одного. Товарищи нигде не могли найти шара. Наконец они добыли один у ребенка, но шар был старый и не летал. Тогда товарищи мои кинулись в оптический магазин, приобрели аппарат для добывания водорода и наполнили им шар; но он тем не менее упорно отказывался подняться: водород не был просушен. Время уходило. Тогда одна дама привязала шар к своему зонтику и, держа последний высоко над головой, начала ходить взад и вперед по тротуару, под забором нашего двора. Но я ничего не видел: забор был очень высокий, а дама – очень маленькая.

Как оказалось потом, случай с воздушным шаром вышел очень кстати. Когда моя прогулка кончилась, пролетка проехала по тем улицам, по которым она должна была проскакать в случае моего побега. И тут, в узком переулке, ее задержали возы с дровами для госпиталя. Лошади шли в беспорядке, одни по правую сторону улицы, другие – по левую, и пролетка могла двигаться только шагом; на повороте ее совсем остановили. Если бы я сидел в ней, нас наверное бы поймали.

Теперь товарищи установили целый ряд сигналов, чтобы дать знать, свободны ли улицы или нет. На протяжении около двух верст от госпиталя были расставлены часовые. Один должен был ходить взад и вперед с платком в руках и спрятать платок, как только покажутся возы. Другой – сидел на тротуарной тумбе и ел вишни; но как только возы показывались, он переставал. И так шло по всей линии. Все эти сигналы, передаваясь от часового к часовому, доходили наконец до пролетки. Мои друзья сняли также упомянутую выше серенькую дачу, и у ее открытого окна поместился скрипач со скрипкой в руках, готовый заиграть, как только получит сигнал: «Улица свободна».

Побег назначили на следующий день. Дальнейшая отсрочка могла быть опасна: в госпитале уже заметили пролетку. Власти, должно быть, пронюхали нечто подозрительное, потому что накануне побега, вечером, я слышал, как патрульный офицер спросил часового, стоявшего у моего окна: «Где твои боевые патроны?» Солдат стал их неловко вытаскивать из сумки; минуты две он возился, доставая их. Патрульный офицер ругался: «Разве не было приказано всем вам держать четыре боевых патрона в кармане шинели?» Он отошел только тогда, когда солдат это сделал.

– Гляди в оба! – сказал офицер, отходя. Новую систему сигналов нужно было немедленно же сообщить мне. На другой день, в два часа, в тюрьму явилась дама, близкая мне родственница, и попросила, чтобы мне передали часы[27]. Все проходило обыкновенно через руки прокурора; но так как то были просто часы, без футляра, их передали. В часах же находилась крошечная зашифрованная записочка, в которой излагался весь план. Когда я увидел ее, меня просто охватил ужас, до такой степени поступок поражал своей смелостью. Жандармы уже разыскивали даму по другому делу, и ее задержали бы на месте, если бы кто-нибудь вздумал открыть крышку часов, но я видел, как моя родственница спокойно вышла из тюрьмы и потихоньку пошла по бульвару, крикнув мне, стоявшему у окна: «А вы часы-то проверьте!»

Я вышел на прогулку по обыкновению в четыре часа и подал свой сигнал. Сейчас же я услышал стук колес экипажа, а через несколько минут из серого домика до меня донеслись звуки скрипки. Но я был в то время у другого конца здания. Когда же я вернулся по тропинке к тому концу, который был ближе к воротам, шагах в ста от них, часовой стоял совсем у меня за спиной. «Пройду еще раз!» – подумал я. Но прежде чем я дошел до дальнего конца тропинки, звуки скрипки внезапно оборвались.

Прошло больше четверти часа в томительной тревоге, прежде чем я понял причину перерыва: в ворота въехало несколько тяжело нагруженных дровами возов, и они направились в другой конец двора. Немедленно затем скрипач (и очень хороший, должен сказать) заиграл бешеную и подмывающую мазурку Контского, как бы желая внушить: «Теперь смелей! Твое время – пора!» Я медленно подвигался к тому концу тропинки, который был поближе к воротам, дрожа при мысли, что звуки мазурки могут оборваться, прежде чем я дойду до конца.

Когда я достиг его, то оглянулся! Часовой остановился в пяти или шести шагах за мной и смотрел в другую сторону. «Теперь или никогда!» – помню я, сверкнуло у меня в голове. Я сбросил зеленый фланелевый халат и пустился бежать.

Задолго до этого я практиковался, как снимать мой бесконечный и неуклюжий балахон. Он был такой длинный, что мне приходилось таскать подол его на левой руке, как дамы держат шлейф амазонки. Несмотря на все старания, я не мог скинуть халат в один прием. Я подпорол швы под мышками, но и это не помогало. Тогда я решил научиться снимать его в два приема: первый – скинуть шлейф с руки, второй – сбросить халат на землю. Я терпеливо упражнялся в моей комнате до тех пор, покуда научился делать это чисто, как солдат ружейные приемы: «Раз, два!» – и халат лежал на земле.

Не очень-то доверяя моим силам, я побежал сначала медленно, чтобы сберечь их. Но едва я сделал несколько шагов, как крестьяне, складывавшие дрова на другом конце двора, заголосили: «Бежит, держи его! Лови его!» – и кинулись мне наперерез к воротам. Тогда я помчался, что было сил. Я думал только о том, чтобы бежать скорее. Прежде меня беспокоила выбоина, которую возы вырыли у самых ворот, теперь я забыл ее. Бежать, бежать! Насколько хватит сил!

Друзья мои, следившие за всем из окна серенького домика, рассказывали потом, что за мной погнались часовой и три солдата, сидевшие на крылечке тюрьмы. Несколько раз часовой пробовал ударить меня сзади штыком, бросая вперед руку с ружьем. Один раз друзья даже подумали, что вот меня поймали. Часовой не стрелял, так как был слишком уверен, что догонит меня. Но я удержал расстояние. Добежавши до ворот, солдат остановился.

Выскочив за ворота, я, к ужасу моему, заметил, что в пролетке сидит какой-то штатский в военной фуражке. Он сидел, не оборачиваясь ко мне! «Пропало дело!» – мелькнуло у меня. Товарищи сообщили мне в последнем письме: «Раз вы будете на улице, не сдавайтесь; вблизи будут друзья, чтобы отбить вас», – и я вовсе не желал вскочить в пролетку, если там сидит враг. Однако, когда я стал подбегать, я заметил, что сидевший в пролетке человек с светлыми бакенбардами очень похож на одного моего дорогого друга. Он не принадлежал к нашему кружку, но мы были близкими друзьями, и не раз я имел возможность восторгаться его поразительным мужеством, смелостью и силой, становившейся невероятной в минуту опасности.

«С какой стати он здесь? – подумал я. – Возможно ли это?»

Я едва не выкрикнул имени, но вовремя спохватился и вместо этого захопал на бегу в ладоши, чтобы заставить сидящего оглянуться. Он повернул голову. Теперь я узнал, кто он[28].

– Сюда, скорее, скорее! – крикнул он, отчаянно ругая на чем свет стоит и меня, и кучера и держа в то же время наготове револьвер. – Гони! Гони! Убьют тебя, – кричал он кучеру. Великолепный призовой рысак, специально купленный для этой цели, помчался сразу галопом. Сзади слышались вопли: «Держи его! Лови!», – а друг в это время помогал мне надеть пальто и цилиндр.

Но главная опасность была не столько со стороны преследовавших, сколько со стороны солдата, стоявшего у ворот госпиталя, почти напротив того места, где дожидалась пролетка. Он мог помешать мне вскочить в экипаж или остановить лошадь, для чего ему достаточно было бы забежать несколько шагов вперед. Поэтому одного из товарищей командировали, чтобы отвлечь беседой внимание солдата. Он выполнил это с большим успехом. Солдат одно время служил в госпитальной лаборатории, поэтому приятель завел разговор на ученые темы, именно о микроскопе и о чудесах, которые можно увидеть посредством его. Речь зашла о некоем паразите человеческого тела.

– Видел ли ты, какой большущий хвост у ней? – спросил приятель.

– Откуда у ней хвост? – возражал солдат.

– Да как же! Во какой – под микроскопом.

– Не ври сказок! – ответил солдат. – Я-то лучше знаю. Я ее, подлую, первым делом под микроскоп сунул.

Научный спор происходил как раз в тот момент, когда я пробежал мимо них и вскакивал в пролетку. Оно похоже на сказку, но между тем так было в действительности.

Экипаж круто повернул в узкий переулок, вдоль той самой стены, у которой крестьяне складывали дрова и где теперь никого не было, так как все погнались за мной. Поворот был такой крутой, что пролетка едва не перевернулась. Она выровнялась только тогда, когда я сильно навалился вовнутрь и потянул за собой приятеля. Лошадь теперь бежала крупной красивой рысью по узкому переулку, и мы повернули налево. Два жандарма, стоявшие у дверей питейного, отдали честь военной фуражке Веймара. «Тише, тише, – говорил я ему, так как он был все еще страшно возбужден. – Все идет отлично. Жандармы даже отдают тебе честь!» Тут кучер обернулся ко мне, и в сияющей от удовольствия физиономии я узнал другого приятеля.

Всюду по дороге мы встречали друзей, которые подмигивали нам или желали успеха, когда мы мчались мимо них на нашем великолепном рысаке. Мы выехали на Невский проспект, повернули в боковую улицу и остановились у одного подъезда, где и отослали экипаж. Я вбежал по лестнице и упал в объятия моей родственницы, которая дожидалась в мучительной тоске. Она и смеялась, и плакала, в то же время умоляя меня переодеться поскорее и подстричь бросающуюся в глаза бороду. Через десять минут мы с моим другом вышли из дома и взяли извозчичью карету. Тем временем караульный офицер в тюрьме и госпитальные солдаты выбежали на улицу, не зная, что, собственно, делать. На версту кругом не было ни одного извозчика, так как все были наняты товарищами. Старая баба в толпе оказалась умнее всех.

– Бедненькие! – произнесла она, как будто говоря сама с собой. – Они, наверное, выедут на Невский, а там их и поймают, если кто-нибудь поскачет напрямик этим переулком.

Баба была совершенно права. Офицер побежал к вагону конки, который стоял тут же, и потребовал у кондукторов лошадей, чтобы послать кого-нибудь верхом перехватить нас. Но кондукторы наотрез отказались выпрягать лошадей, а офицер не настаивал.

Что же касается скрипача и дам, снявших серенький домик, то они тоже выбежали, присоединились к толпе вместе со старухой и слышали, таким образом, ее совет; а когда толпа рассеялась, они преспокойно ушли к себе домой.

Был прекрасный вечер. Мы покатали на острова, куда шикарный Петербург отправляется летом в погожие дни полюбоваться закатом. По дороге мы заехали на далекой улице к цирюльнику, который сбрил мне бороду. Это, конечно, изменило меня, но не очень сильно. Мы катались бесцельно по островам, но не знали, куда нам деваться, так как нам велели приехать только поздно вечером туда, где я должен был переночевать.

– Что нам делать теперь? – спросил я моего друга, который был в нерешительности.

– К Донону! – приказал он вдруг извозчику. – Никому не придет в голову искать нас в модном ресторане. Они будут искать нас везде, но только не там; а мы пообедаем и выпьем также за успешный побег.

Мог ли я возразить что-нибудь против такого благоразумного предложения? Мы отправились к Донону, прошли залитые светом залы, наполненные обедающими, и взяли отдельный кабинет, где и провели вечер до назначенного нам часа. В дом же, куда мы заезжали прямо из тюрьмы, нагрянула часа два спустя жандармерия. Произвели также обыск почти у всех моих друзей. Никому не пришло, однако, в голову сделать обыск у Донона.

Два дня спустя я должен был поселиться под чужим паспортом в квартире, снятой для меня. Но дама, которой предстояло сопровождать меня туда в карете, решила для предосторожности сперва поехать самой. Оказалось, что вокруг квартиры шпионы кишмя кишат. Друзья так часто справлялись там, все ли обстоит благополучно, что полиция заподозрила что-то. Кроме того, моя карточка была в сотнях экземпляров распространена Третьим отделением между полицейскими и дворниками. Сыщики, знавшие меня в лицо, искали меня на улицах. Те же, которые меня не знали, бродили в сопровождении солдат и стражников, видевших меня в тюрьме. Царь был взбешен тем, что побег мог совершиться в его столице, среди бела дня, и он отдал приказ: «Разыскать во что бы то ни стало».

В Петербурге оставаться было невозможно, и я укрывался на дачах, в окрестностях. Вместе с несколькими друзьями я прожил под столицей в деревне, куда в то время года часто отправлялись петербуржцы устраивать пикники. Наконец товарищи решили, что мне следует уехать за границу. Но в шведской газете я вычитал, что во всех портовых и пограничных городах Финляндии и Прибалтийского края находятся сыщики, знающие меня в лицо, поэтому я решил поехать по такому направлению, где меня меньше всего могли ожидать. Снабженный паспортом одного из приятелей, я в сопровождении одного товарища проехал в Финляндию и добрался до отдаленного порта в Ботническом заливе, откуда и переправился в Швецию.

Когда я сел уже на пароход, перед самым отходом, товарищ, сопровождавший меня до границы, сообщил мне петербургские новости, которые он обещал друзьям не говорить мне раньше. Сестру Елену заарестовали; забрали также сестру жены моего брата, ходившую ко мне на свидание в тюрьму раз в месяц после того, как брат Александр был выслан в Сибирь.

Сестра решительно ничего не знала о приготовлениях к побегу. Лишь после того как я бежал, один товарищ пошел к ней, чтобы сообщить радостную весть. Сестра напрасно заявляла жандармам, что ничего не знает. Ее оторвали от детей и продержали в тюрьме две недели. Что же касается моей свояченицы, то она смутно знала о каком-то приготовлении, но не принимала в нем никакого участия. Здравый смысл должен был бы подсказать властям, что лицо, открыто посещавшее меня в тюрьме, не может быть запутано в подобном деле. Тем не менее ее продержали в тюрьме больше двух месяцев. Ее муж, известный адвокат, тщетно хлопотал об освобождении.

– Мы теперь знаем, – сказали ему жандармы, – что она совершенно непричастна к побегу; но, видите ли, мы доложили императору, когда взяли ее, что лицо, организовавшее побег, открыто и арестовано. Теперь нужно время, чтобы подготовить государя к мысли, что взяли ненастоящего виновника.

